

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

6

2004

6

НОВЫЙ
МИР

2004

НОВЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (950)

Июнь, 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТАТЬЯНА БЕК — Служенье птиц, стихи	7
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ — Бабушкин спирт, повесть	10
ГЕННАДИЙ РУСАКОВ — Горло дней, стихи	27
ЮЛИЯ ВИНЕР — Снег в Гефсиманском саду, повесть	32
МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ — Погоди минутку, стихи	74
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Парад облаков, рассказы из летней тетради	78
МАКСИМ ВОЛЧКЕВИЧ — Тот циферблат, стихи	95
ОЛЕГ ЗОБЕРН — Тихий Иерихон, рассказ	98
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ — Сказ о явлениях блаженному Тимофею	105

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

РЕВЕККА ФРУМКИНА — Феномен репетиторства как социальная практика	107
--	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениям	116
М. Л. ГАСПАРОВ — Памяти Сергея Аверинцева	124

БЕСЕДЫ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Не дерево, а роща. Беседу ведет Татьяна Бек	127
--	-----

ОПЫТЫ

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Привет Ахметьеву	140
---------------------------------------	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Люди как люди. Работа как работа	142
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Леонид Бородин — «Царица смуты». Из «Литературной коллекции»	149
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Полищук. На ветру трансцендентном	159
Ирина Роднянская. Горит Чухонцева эпоха	167
Ольга Канунникова. Из жизни парадоксов, или Некоторые устрицы несчастнее других	172
Дарья Рудановская. Язык ночи	179
Юрий Каграманов. Еще об исламе	181

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА	186
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	192
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ЕКАТЕРИНЫ КОРНИЛОВОЙ	199
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	204

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	210
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	214
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ВАЛЕРИЯ ПОПОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ И. П. БЕЛКИНА
ЗА ЛУЧШУЮ ПОВЕСТЬ ГОДА!
(«Третье дыхание» — «Новый мир», 2003, № 5, 6).**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
МИХАИЛА ГАСПАРОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ЛЕОНИД БОРОДИН — «ЦАРИЦА СМУТЫ»

Из «Литературной коллекции»

Знаю от автора, что тема эта пришла к нему в лагере, во время второго срока: только такая отдалённая от наших дней тема и могла быть не опасна заключённому. Но после выхода из лагеря попал автор в поток реальной общенародной Смуты, по меньшему счёту — Третьей в русской истории. И так его начатый сюжет получил, надо думать, новую подпитку, звал к углублению пониманий и обобщений.

Наша Смута XVII века предлагает писателю широкое множество сюжетов — богатых сильнейшими драматическими эпизодами, захватывающих размахом психологических колебаний, оборотом действий, и поучительных нравственно. И вот — новая повесть из того сгустка нашей истории, посегодняя отображённого ещё слишком мало. Поначалу удивляет выбор автора: сюжет — на околичности времени (1613 год) и пространства, когда главные события уже все совершились, да и географически взят вдали от них (дальний астраханский край, Яик, заволжская степь), как бы — «анти-Узел»? Кажется: исход этого окраинного события — Марина Мнишек со своим последним казачьим отрядом и поражение его — уже ясен, и не должен вызвать напряжения. Но по мере чтения выбор автора оправдывается преимуществами ретроспекции на 8-летнюю толщу уже прошедших событий: всеобщую затронутость нравственной порчей, душевные шатания, униженное поведение, почти круговое предательство столь многих бояр, включая и Романовых, угодливых перед Самозванцами, и разрушительную роль казачества в Смуту.

Такой выбор сюжета и мог иметь целью и во всяком случае вёл к переносу центра внимания на психологию, внутреннюю жизнь Марины Мнишек. Ни в чём не противореча образу «ранней» Марины, какой она сложилась у нас от Карамзина и Пушкина, Бородин углубляется в свежую разработку «позднего» образа её, для которого мог наличествовать лишь скудный фактический внешний материал, а всё остальное угадываться и достигаться писательской интуицией.

Именно это — художественное решение — мы и попытаемся здесь проследить, не берясь соотнести его с сохранившимися или уже безвозвратно утерянными историческими подробностями.

Повесть (не роман, она сжата по-современному, дана лишь плотность всего существенного — событий, образов и мыслей) написана однако с убеждающим вхождением в дух эпохи, в быт её (когда «молитву и ту творишь торопливее, чем пищу жуёшь»), в детали одежд, домовых убранств, боевой техники и самой лексики — всё углажено, тут заложена добротность художественной работы, и вся она пропущена автором «через себя». (Ещё и потому, что автор — современник Смуты нынешней?) Эта повесть — в нынешние годы пустоцветения торопливого поверхностного «постмодернизма» — входит весомым вкладом в русскую историческую романистику.

Конструкция повести — вполне эффективна. Экспозиция дана легко, сразу, без напряга читательского внимания. Далее применён сюжетный пунктир: семь главок — семь этапов повествования, между которыми — пропуски, ни-

сколько не разрушающие цельности. А внутри — вся подробность действий и чувств, правда с неизбежным выливом воспоминаний у персонажей — необходимых (пожалуй, кроме гибели Ляпунова, это избыточно здесь) для ясности их фигур, душевного строя, памяти, — одновременной оглядкой давая и читателю обрывки тех главных событий Смуты, за рамками повести. (У Марины — таких воспоминаний больше от ликующего въезда в Москву в мае 1606 — а всего лишь на две недели кремлёвской жизни, на одну неделю от коронации до бунта москвитян.) При чтении — настолько великолепной кульминацией видится прогулка Марины под грозой по стенам астраханского кремля (только повтор грозы во сне кажется лишним), что возникает опаска — как автор ещё дальше сумеет не дать сюжету ослабнуть? Но он ведёт его в перепады душевного мира Марины — а затем с новой силой даёт кульминацию чувств прикованной и пренебрежённой узницы. И прекрасно решена последняя страница повести: «После слов» (не затёртое «послесловие»), тактично поясняющая читателю документальную и фольклорную основу произведения.

Разумеется, не крядным описанием, но кой-где разбросанными замечаниями автор сообщает нам некоторые детали наружности Марины, нами легко признаваемые как традиционный образец её: хрупкая, маленькая, руки тонкие с длинными пальчиками (а «тяжёлый пистоль удерживали»); «маленькая гордая головка»; «чёрные пряди», «чёрный блеск зрачков», «остренький носик», губы — «две тонкие полоски, как ни выпячивай» их для поцелуя. В суровой Московии «нежность глаз шляхтянки перечит дикости людской и природной»; «власть взглядов своих проверена ею не раз»; «глаза её — сколько явных и тайных побед совершено ими». Но бывает и так, что они «слезами оскорблённой гордости» засвечиваются, а «змеиные брови подлетают к переносице». Пани царица может и поплакать, но никто не узнает, кроме её приближенной фрейлины.

Вот и далее — черты, которые для нас не новы, мы их и ждём. Марина «всегда жила по рассудку», «всегда опытным глазом умела разглядеть смысл и замысел, а часто и предугадать исход». И «для Марины сам по себе мужчина, будь он хоть Аполлоном с лица, не иметь ему власти над её душой». — И — воля, самообладание и знаки величия. «Голос с холодком и без дрожи, и чтобы ни один мускул лица не выдал», поклонника «бровью единой отсылает прочь». — «К людям не приглядывалась, не вникала», её задача — «требовать верности и доблести в исполнении». — «Унять дрожь — один глубокий вздох, глаза закрыты, руки на коленях, дрожь из рук через ступни уходит в пол, мысли, смятые мгновением страха в клубок судорог, обретают привычное течение — и она снова себе хозяйка». — И порывы. «В лагере Сапеги под Дмитровом» в бой «вовремя вмешалась, сама на вал под пули вышла». В бою стругов на Яике: «в руках дрожь, но не от страха, а от азарта, она вскакивает на ноги, взводит курок пистоля, выцеливая врага». — Или вот «по-казацки пригнувшись в седле, все оставшиеся силы выжимает из животины, словно хочет с разгону перепрыгнуть Волгу, а там замертво пасть вместе с конём». — А когда зарубили тушинского самозванца — «на коня, и вихрем в стан казацкий, а там бранилась и кричала простолюдинкой, на мечи бросалась, то ли смерти искала, то ли муки телесной». — «Никогда ничего ни у кого не просящая», она выработала взгляд и на «упрямство, с каким чернь цепляется за жизнь, за землю, в том видится Марине нечто тупое, звериное... Разве не Божиим установлением раз и навсегда определено право господина на волю холопа. И когда чернь смеет жить сама по себе — в том поправление Закона». «Чернь должна знать силу над собой. Не найдёшь зачинщиков, повесь кого угодно». А когда страх или ярость, тогда каких только пыток не вообразишь всем изменившим, предавшим, бросившим, хоть и на поклонника «рука с нагайкой в воздухе». Проклятья врагам рождаются в душе Марины с такою страстью, что «испепелили бы они тех, кому предназначались». «Ненависть пробуждается и горячит кровь». «Главная хворь души её — упрямство, ослепляющее разум».

Всё это — также ложится в наше устоявшееся представление об исторической Марине, хотя автор, между тем, яркими деталями уже сильно расширил его. Всё ж до сих пор ни одна черта не пришла в разноту с образом Марины Мнишек, как все мы его усвоили. А вот и разность: «Она ли не горда, она ли не владычица своих чувств, а вот поди ж ты, привязчива чисто по-бабски». И вот ей хочется возлюбленному «сказать что-то доброе обыкновенным бабьим голосом или просто притронуться рукой к его локтю». Рядом с фигурой её, исторической и литературной, — это кажется невозможным? Но ведь и не в годы блеска и власти, а после восьми лет неурядиц, бедствий и скитаний в условиях воистину диких, «уже давно пребывающая в страхе, и не в страхе Божьем». — Или даже раньше? Вот второй самозванец ведь «никогда не был ей люб, а противен с первых дней, и после — какое насилие учиняла над собой, чтобы терпеть при себе, чтобы быть ему супругой», — это так, при известной физической отвратности «тушинского вора», однако и при взвешенной рассудочности Марины. «Но, — продолжает автор, — не заметила, как привязалась. И голову его отрубленную готова была руками обхватить от нежности, которая откуда только взялась». Даже и это бы — понять, но дальше «стыд испытывала за притворство, с каким делила ложе» с красавцем-казакон Заруцким, «обманивая его деланной страстью», — и это бы так, по рассудочности её, хотя, в её 26 лет? — «сама давно остывшая для ласк любовных... перегорела она в страстях двух царей московских» — из которых с первым прожила менее недели, а второй был отвратный тушинец? Разве что всё равнодушие опять-таки сводится к холодным расчётам на путях к трону и славе.

Тут-то и вклинивается дивная сцена выхода Марины под грозу над Астраханью. Эта сцена так ярка, густа, её надо бы читать сплошь, а не в цитатах. Вот, над Астраханью, «разгулялись бесы большие и малые, рвут полотнища небесные в клочья и расшвыривают по краям горизонта»; «в тресках громовых открывается Марине понимание языка бесов: „А не отступил ли Всевышний от тебя?“ Как провериться?» И она с быстротою одевается нарядно, с тонким подбором цветов, и — порывом наружу. Там донцы: «присели в коленках усахи, шапки косматые на брови натянута, рожи перекошены... А вокруг — сумрак, негаснущими молниями вспоротый», но «ни дождя, ни ветра». Смущённых донцов оставляет внизу — а сама всходит на кремлёвскую стену. А бесы «распоясались огнём и громом над Крымской башней, заманивают». Марина гордо «идёт полуослепшая, почти на ощупь». А внизу «из всех домов людишки повыползали, жмутся к стенам и крыльцам» и «на царицу дивятся, идущую по пряслу навстречу калёным стрелам». И бесы, ещё «плеснув огня в глаза», «за Волгу отступили с досады». И «толпой казачё, стрельцы, монахи шапками машут, славу орут Марине, царице московской, пред которой отступились бесы». Марина возвращается в свои покои, сбрасывает кикю с головы, спешит в молельню, «исповедь вызревает в душе», «после нынешнего позорного уступления сил сатанинских нет более сомнения в успехе дела».

Да ныне, если б Марине и сдаться — а: кому бы «на той, другой стороне»? если б там были «какие-то иные люди, чистые и смутой не помаранные»; «но сдаться... разбойникам и клятвопреступникам только потому, что тот или иной вовремя переметнулся»?

А как — с католичеством Марины? В соответствии с прежде усвоенным нами её образом оно может представляться лишь как часть её политических расчётов (на нём была когда-то — вся поддержка от Римской церкви и польского короля), а при характере Марины предположить в ней глубокую религиозность нелегко. (У Пушкина этого во всяком случае нет.) Но ведь Бородин представляет нам Марину после восьми лет неудач и страданий, это другая Марина. «Тяжкие думы Марина умеет в узде держать, и всякое предчувствие дурное... тотчас же встреч ему выставляет душа Маринина заслон непоручимый — веру в покровительство Господнее». Застав в воеводском дворце в Астрахани православный иконостас, она себе «заводит домовую церковь римского обряда», ибо «русинская ересь, не по чести православием именуемая, от-

вратна душе», отказывает православному монастырю в даровых продуктах и «строжайше запрещает утренний звон по всем церквам астраханским» (он раздражает её, напоминая утренний набат мятежа против Лжедмитрия). Однако Марина и уклоняется от назойливости приставленного к ней патера, «она просто не допускает его в свою молельню, ей не надобен посредник», объясняет, что может только «самолично творить молитву пред ликом Господним, что только так может явить полноту покаяния... в строгом уединении с Господом открываются ей Его помышления о ней». — В дальнейших злоключениях, ища раздумчивого уединения, Марина размышляет об ангелах небесных: «какое отвращение должны питать они к человекам, к мерзким инстинктам и низменным чувствам» их. А в ещё большей загнанности Марины — «ни дворца, ни крепости — простой избы рубленой достаточно, и уже почувствуешь себя... в Божьем мире, примешь его душой и повторишь вслед за Господом: „Хорошо!“».

Да это весьма правдоподобно, что вера Марины возросла в годы непереносимых лишений. «Уверовав в избранность свою для дел великих, все мелочные страхи утратила, один остался — Божьего отступничества боялась». А если не допустить, что возникла в ней напряжённая религиозность, — то, может быть, на одном бы честолюбии она и не удержалась? Господь «жаждал видеть волю Маринину соответственной призванию... Оттого-то и являла храбрость... чтобы видели: верит в назначение».

Пройдя через десятилетие бед, крушений, опасностей, унижений на чужбине, Марина, как видит Бородин, укрепляется в католической вере всё истовой (или даже неистойей), вера становится её верным заслоном и от новых и новых угроз, худых предчувствий, мрачных мыслей, одновременно же, в подпор её несколько не утраченному честолюбию. — Укрепляет её и в призрачном осознании своей миссии: вот это дремучее русское племя обратить в истинную католическую веру, вернув себе утраченное место коронованной над ним царицы.

Однако и всё более углубляясь в религиозное созерцание, Марина не упускает соотносить его духовные плоды со своими политическими задачами. Ещё в ночь перед триумфальным первым въездом в Москву она своему патеру, напоминавшему ей об её обязанностях перед Польшей и Римской церковью, ответила, что «всё должное исполнять намерена неукоснительно... но притом всё же царицей она будет московской, а не польской» и «если что-то из обещанного может оказаться опасным для её трона, то сим обещанием поступится, не колеблясь». А до того — по дороге в Москву, «радость народная, каковую и понять трудно, с чего бы уж радость такая?». («Ещё не знали, что по договору Смоленск Польше отходит сразу после венчания».) «Народ, готовый на руках нести карету»; «видимо, дано этому странному народу редчайшее чувство чистого благоговения к престолу, какового в Польше её родной не увидишь ни у шляхты, ни у быдла». И Марина самовнушается, что «меня призвали всенародно, сама ведь не напрашивалась» (как сказать...), и более всего поражена, что так легко добилась отдельного от супруга своего венчания на царство, небывалый акт.

А этот народ русинский и не может не удивить сторонний взгляд. Хотя бы то, что у их Московии «восточных границ вообще нет — можно ли понять такое?». Какое-то «чудовище полусонное», от которого Европе видима только голова, «а туловище его необъятное Европе и невидимо вовсе». И «для чего народу этому столько земли неосвоенной... ведь не знают цены» ей. «Странности народа московского любому иноземцу в глаза бросаются и оскорбляют умы, знающие правила и порядок». (С большим опозданием и патер размышляет, что, видимо, «святая церковь Римская изначально ошибалась в оценке народа, коего восхотела обрести в лоне своём», недооценила «еретическое упрямство москалей».) Марина же, «утомлённая политесом Сигизмундова двора, очаровывалась [тут] прямою слов и поступков, готова была жаловать и любить их», даже «подлинной великой славы хотела народу и государству», вот «умными действиями сумеет обратить народ русинский в Римскую веру, и с

подлинным образом Господа в душе дикий народ этот явит миру силу свою и разум, просветлённый истинным вероучением». Однако «в первые же дни в Москве усомнилась, а потом и вовсе разуверилась: не нужна истина народу» этому.

А после «восьми лет неслыханных мытарств по Московии» перед глазами череда лиц, не лиц — теперь уже мерзких харь бояр московских, лукавцев, угодников, лизоблюдов. А ведь именно через Марину, ощущает она теперь, «являл Господь случай Московии обрести покровительство небесное. Но не приняли!». И что ж? «Как народ Израилев, не понявший смысла Божьего завета... был сурово наказан Господом за слепоту, так и москали испытают со временем гнев Господний в полноте». «Не дано им самим понять и постичь тайну завета, а кто-то другой, подвигнутый на то, должен явиться в земли русинские и вразумить, и начать тем подлинную историю края сего в соответствии с Божьим замыслом о нём».

И — кто же это? Даже после всех горчайших неудач — или именно от них (и в верном соответствии с характером Марины, здесь я вижу очень правдоподобную отгадку Бородина, развивающую образ до конца), именно в последних поражениях в ней возникает, растёт, утверждается фанатичная уверенность в особости своей судьбы. «Не забыта! Всего лишь более чем когда-либо неисповедим путь Господень», «её, избранницу и страдальцу, Господь не оставит!», «люди отступились от меня, но не Господь, и правда моя восторжествует». Именно теперь-то Марина «в полной мере осознала призванность к великому», «её судьба однажды взята на Высочайшее попечение», «...всмотреться в тайну Божьего замысла про свою судьбу. Сколько странных и таинственных совпадений ею уже подмечено и сколько ещё выявится... и как-то потом всё сведётся к одному благому и великому». Теперь — «она знает, чему быть», а сподвижники её не знают, но «всем верным воздастся по их верности»; «когда страх и отчаяние сожмут горло так, что только хрип да стон, когда самый последний из верных изуверится и отшатнётся — вот тогда-то...». — А потому «главное сейчас — не вмешиваться», «наперёд отречься от стараний и попыток своей волей и своим умом вмешиваться в тайну неисповедимости путей Господних, терпение и доверие — вот её работа», «ни единым душевным шевелением» не участвовать в своей судьбе, «смирненно полагаться на разумение Божие, не пытаюсь понять его», «иная воля сотворит победу, когда все надежду потеряют», «её партия разыгрывается в иных сферах», «как бы теперь события ни развивались, исход дела решится не ими... Лишь бы скорей...».

В развитии этого внутреннего вдохновения Марины мы не сразу схватываемся различить начало схода с ума, а лишь когда, в самые бурные повороты событий, она становится «тиха не по нраву», и, услышав весть и шум, что в самой её Астрахани — на посаде бунт, «стрельцы, чернь астраханская и татарва лютуют» под стенами кремля, — «Слава Всевышнему, — шепчет Марина, — слава... началось», и «счастливая улыбка на устах царицы».

Фанатичность отчаяния? Теперь автором и объяснена и продолжена в проявлениях вспышка религиозности в прежней безмерной честолюбке. Да, без такой напряжённой веры в судьбу — разве удержалась бы она в восьми годах карусельной переменчивости обстоятельств? — «от отчаяния к надежде, от надежды к уверенности и торжеству, и снова отчаяние, и снова надежда...».

И Бородин проводит перед нами психологическую разработку: как, упорно вдохновлённая своею задуманной миссией и все силы тому отдавая, Марина, незаметно для себя, сдвигается в безумие. Уже отжила она то ещё недавнее время, когда её терзали столькие утраты и измены, когда она сочла предателями и своего отца и короля Сигизмунда, ибо звали вернуться к ним, но «в Польше конец её дела», «значит, не быть ей в Москве!» — А вот, заброшенная с горсткою остатних казаков на пустынный остров дикого Яика, Марина испытывает и такой поворот: «не-хо-чу-в-Мос-кву! Хочу здесь! Не хочу быть царицей! Не хочу каменных палат, хочу избу по-чёрному. Не хочу одеял атласных, хочу рогожу да посконку!»; «бесы страхами искушали меня, громами да молниями. Теперь покоем искушают. Ты, говорят, устала, царица. Посмотри,

говорят, вокруг, мир для покоя души создан. А ещё наговаривают уроды невидимые, будто Отцу Великому никакого дела до меня нет», «и верно, давно надо б от лишней суеты отречься, извечностью порядка восхититься», «раньше сердцем слепа была к миру Божьему», а вот «среди быдла и природной дикости почему мне здесь хорошо, как нигде не было».

И если это — развитие безумия, то — уже за ту грань, где безумие возрастает до уровня высшего смысла.

В этом достигнутом новом состоянии Марина находит и больше внимания к сыну своему от тушинца. Мальчик всё время тут, подле неё, но в разрыве борьбы она не так много отдавала ему. А он был умеренно капризен, уже испытав порчу от положения царёнка. Потом, «после астраханской сечи духом повредился, икота нападала и дрожь в теле, речь невнятная». Затем и с ним происходит душевное изменение, слишком раннее по возрасту, но веришь ему: вдруг «нет более крикливого озорника и проказника, странная недетская тоска поселилась в его очах», то ли «открылось душе несмышлёныша какое-то никому кроме него не известное знание, которое ни себе, ни другим высказать не может».

После рысканий казачьего отряда Марины по Волге вверх, потом в дельту, а через Каспий по Яику вверх, — там, в дикой глуши, они настигнуты погоней московских стрельцов и других казаков, изменяет и часть своих, вся экспедиция их порушена — и вот, отнявши напрочь сына, Марину везут в Казань на подводе, обстроеной в виде деревянной клетки, с ногою, прикованной тяжёлой цепью к пушечному ядру, и когда ей, измученной и униженной, надобно по необходимости с подводы сойти, «приставленный мужик тащит ядро вослед». Но Марина — вот уже пережила и «хамство казачье, насмешки, издёвки, подвал астраханской башни», допросы с угрозами и падение духа, когда молилась о смерти.

Но и это — «пережито! Прежний порядок дум обретает стройность»: Марина так ощущает, что «она снова царица, это замечено и стрельцами», конвоирующими её. Её везут в Москву? Возвращается её фанатичная убеждённость. «Она давно догадывалась, что ни в каком ином месте, но только в Москве свершится... непостижимая прихоть Высшей Воли», хотя Марина «не в славе, но в цепях прибудет туда». И когда от своего пленённого же сподвижника Заруцкого случайно узнаёт, будто тысяча казацких сабель идёт им на выручку, — «Марину сие известие так испугало», что она вызывает начальника стрелецкого конвоя и просит усилить охрану их, пленных! Она не хочет этого физического вмешательства на помощь своей судьбе: она верит в её предначертанную саморазрешимость, которой не могут нарушить «ни люди, ни цепи». Нет! Она сокровенно обдумывает «обличительную речь против боярства московского. Где и когда она будет произнесена, того не угадать. Но слова! О, им будет воистину тесно в устах!» Как всех этих бояр Марина рассадит по порядку виновности, но в центре, у ног — «щенок романовский, осмелившийся короны царской коснуться». Всем Романовым — «пострижение немедленное и публичное» и в телеге — в монастырь Соловецкий.

А вот — доездили до Казани. И в кремлёвский подвал, где Марина прикована на короткой цепи, на несвежей соломе и в невольном зловонии, — спускается воевода, оскорбляет её презрительной речью, да дал бы ей и плетей, когда б не точное распоряжение государя Михаила Фёдоровича. И Марина — сорвалась со стези усвоенной самовнушённой покорности воле Всевышнего. «Онемела от хамской речи, задрожала всем телом, губы из послушания вышли. Шагнула навстречу, сколько цепь позволила: „Я и в цепях царица, а ты и в наградах холоп! И не за тобой последнее слово, за мной, и тебе от того слова ещё дрожать и корчиться“».

И суток до трёх — ещё на второй цепи, к руке, и отказалась от пищи и воды, в полной тьме и при пiske крыс. И вдруг с ослепляющим светом фонаря входит польский ротмистр, знакомый ей ещё ото дней славы её, — по поручению королевича Владислава, с разрешением царя Михаила: только подпи-

шите отречение от московского трона за себя и за сына — и свобода. — «Марина встанёт резко, цепи натянулись... Окрепшим голосом говорит торжественно и громко: „Передай Владиславу. Они с отцом-королём предали меня и потомками прокляты будут. Я же законная московская царица» — и вот, когда к власти вернётся, то будет другой с ними разговор.

И только оставшись снова во тьме, «на висках будто обруч змееподобный, не для боли надетый, но для предела мысли», — Марина вопит о погубленном ею сыне. (Сильнейшие строки.)

Что здесь вымысел — нет, догадка — автора? При обломках исторической достоверности — тут вся правота за художником, и — dokonечная верность характеру героини. И сила тюремной стойкости, опять же известная автору на опыте собственном. И хотя надо всей этой повестью автор не мог, пусть бы и косвенным зрением, не видеть пушкинского образа Марины-авантюристки (только взяться за эту тему — даже изнехотя есть состязание с Пушкиным), но повесть эта — не спор с ним, не противопоставление ему своего варианта, а яркое продолжение и развитие образа на протяжённость восьми годов и гибельной переменчивости событий. Без этого бородинского закончания образ Марины и история её были бы для нас менее полны.

Рядом с Мариной мы то и дело видим одинокого безудачливого (сквозь всю жизнь) неприкаянного боярина с чуть изменённой старинной фамилией — Олуфьев. Он из рюриковичей, но «вместо того, чтобы с Пожарским поляков из Москвы выкуривать», — ушёл с Мариной и в «списки воровские» попал. Довольно быстро становится ясно читателю, что это — вымышленный персонаж, важный для автора не сам по себе, но возможностью диалогов с Мариной, обдумываньем её судьбы с достаточно высокой точки зрения, ещё один взгляд на неё, ещё одно истолкование, как бы форма конфидента. Да из 400-летней исторической глубины откуда такого неведомого спутника Марины увидеть, найти истинного? Может, и был кто-то, но покрыт наслоем забвения. Примыслишь ещё одного любовника? — задача вряд ли достойная. В какие же отношения поставить его с Мариной? Задача была весьма трудна для автора, и не надо удивляться, что исполнение не вытянуло на замысел, фигура Олуфьева получилась искусственно сконструированной, неотчётливый характер. Не верится и в его выдающуюся воинственность, якобы многожды проявленную в прошлом, и нереальной видится его бесцельная и безнаградная («отцовская») верность Марине, ещё и при вялом поведении его. Не случайно он порою во все выпадает из сюжета.

Автор, разумеется, всё время чувствует надуманность этого персонажа и не раз пытается вернуться к обоснованию и воплощению его. Олуфьев высказывает исторические оправдания Марине: что «она жертва и подручник плана промыслительного» (по его же истолкованию — скорей сатанинского, чем Божьего), она «несчастливая женщина, соблазнённая царством и обманутая людьми», а «сколько именитых людей московских к самозванцу пристало? Романовы нынешние и те там побывали и руки к воровским письмам прикладывали», в те годы «все едино вороньём казались, слетевшимся под град-столицу за добычей».

Реально же рядом с Мариной то и дело шагает и скачет знаменитый казачий атаман-смутьян Заруцкий. Не столько он сам, сколько всё казачество тех лет в целом — живо интересно нам, для понимания Смут вообще, да и пределов колебаний самого казачества. Кто хоть едва касался истории Смуты, не мог не поразиться динамичному участию казаков всюду и все годы: уже Лже-Дмитрий первый легко опёрся на донцов и запорожцев, и реяли казаки по всем российским просторам и сколько раз под Москвой и в Москве, и в Тушине. И «Лже-Петра» выдвинули казаки волжские и терские, а от астраханских казаков — даже и три лже-царька. Однако и поляков выбили из Москвы — тоже казаки.

Заруцкого, выдающегося и грозного авантюриста Смуты, застаём в повести тоже «боярином» (в дар от Дмитрия тушинского...), после воинственных из-

ломанных метаний-отступлений от Калуги до низовьев Волги и Ногайской степи. И строен, и хорош собой, и рубака, и вождь, «сверкание зрачков», — он картинен и выпукло виден в повести, до каждого жеста — как садится за стол, не глядя комкая алое сукно скатерти, а потом в порыве слезает, почти сдёрнув скатерть, то — отбрасывает кресло «на полсажени прочь», а то и, придя с грозной вестью, небрежно садится чуть не на ноги лежащей в кровати Марине. «Казацкое дело давно стало смыслом его жизни». Умеет и не уныть от дурных вестей — сколько-то дней таит от Марины отпадение терцев, а то от череды неудач «левый ус подёргивается вместе с губой», а то и «всей щекой, как в судороге» дёргается. Марина — его любовница по полному праву, но, за заботами, оба не очень этим пользуются. А вот, уже близко к полному поражению, она видит его так: «Сейчас он не казак безродный, сейчас он рыцарь, побеждённый, но не покорённый, поражение не унизило состояние его души, не растоптало её как бывает часто с холопами-высочками». — Бородин вкладывает в голову Заруцкого, и правдоподобно, проект превратить Россию в казацкое государство, «государство воинов, где лишь два сословия — тягловые и казаки», и «каждую весну выстреливать со всех границ стрелами молниеподобных казацких полков», «государство в кулаке казаком, и потому казацкому войску быть, как Сечи, от государства в отдельности». Кажется вполне допустимым и предположение Бородина, что Заруцкий был — из организаторов покушения на юного Михаила Романова («сусанинский эпизод»).

Слышим суждения Олуфьева: на Руси «что казаков-то осталось? Вор на воре», а отряд Терени Уса, волгаря, — «только одно воровство разбойное, на казацкой воле и удали замешенное». «Смирение на роже волжского разбойника — словно гримаса болевая». Видим захмелевших запорожцев, как они, «свесив длинные остроконечные усы к столу, согнувшись над столом голова к голове», негромко поют одну из своих разымчивых песен. У запорожцев «чего только не бывает в суммах перемётных. Глаз, как у воронья, цепкий, рука хватлива, а горло к питию ненасытно... Зато поют, черти! И откуда что берётся? Словно какой-то благодатный задаток дан этому народу, распорядиться им он не может или не умеет». Живо воспроизведены казацьи боевые клики. Или видим их атаманов (Истому Железное Копыто, Максим Дружная Нога, Иван Кoryто, Бирюк, Илейко Боров, Юшка Караганец) — «лица атаманов черны, словно души обнажились и выявились в чертах». А вот, после изнурительного перегона по песчаной степи, — «Заруцкий, орёл орлом, кому-то кивнул, кому-то зубами блеснул в улыбке, за ним остальные в ряд по четыре — и когда успели вид обрести? ни на ком следов степи, словно лишь из одних ворот [астраханских] выехали, в другие въезжают».

Марина вывела для себя: «воровство и измена — в том стержень казацкой вольности»; и уже видела не раз: «было бы что пообещать разбойникам, слова найти нужные, на которых бы выигрались корыстью души воровские», но она «и другое знает за казаками: по корысти приходили к ней, но по чести умирали за неё — так уж раздраема душа казацкая двумя началами». А «противно душе казачьей служение холопское, не от хорошей жизни способен поменять казак волю на крепость кому бы то ни было...». И, вглядываясь в лица их ещё на другом совете атаманов: да «если любого из них постричь, побрить, усы дурацкие укоротить, рожи загорелые отбелить, а потом переодеть в боярские платья — кто тогда признает в них разбойников?».

А вот, измотанные неудачами, изменами, отступлениями, уже в последнем бою на Яике — казаки «без смысла бродят по стану», и до своих же, «до порубанных и пострелянных никому дела нет, стаскали в кучу на берег за стену сторожевую и оставили там без присмотра от птиц и зверья». А в ночь — и среди них, последних, измена — «в отблесках факелов кривороты, кривоносые, безглазые, с разверстыми тёмными пастями, один хрип звериный оттуда» — и тщетен призыв к ним: «Слышал ли кто из вас, чтоб где-то люди ратные живота себе добывали, врагу сдав воевод своих да начальников? За одними только ватагами казачьими сей постыдный для ратного человека грех...»

Ну, и время же Смуты — для всех веков российского казачества наихудшее. Как и для всего русского народа. Над действием повести время от времени, как тёмные облака, проплывают смысловые обобщения о разлившейся по Руси душевной низости. «За какие-то тяжкие грехи брошена Русь в смуту». — «В смуте хрипнет глас народный, рыком звериным оборачивается» — и остаётся надежда «на лучших, мудрых и воровскому соблазну не поддавшихся». Однако, чем далее тянется, «по издыхании смуты с каждым разом всё дурнее ликом люди вокруг, словно осадок породы человеческой». А в конце-то — «людишек в прежнее холопство потянуло?». Нет: «из грязи и греха вновь родившееся государство всегда правее смуты».

Эти общие размышления — и все в размеренности, стиле своего века — ещё и дробятся в афористические осколки глубоких, выстраданных мыслей. Они рассыпаются по простору повести, очень её тем украшая.

Ныне «слабость с изменой поравнены». — «Всякому верное слово в душе сказывается, но не всякий слышит». — «Воля Божия не в стечении обстоятельств проявляется, но вопреки тому». — «Толпа — не она ли и есть самое вечное из всего вечного? Толпа сама по себе, как ртуть, перетекает из одного времени в другое — нестрадательна и неуничтожима». — «Что вообще есть деяния людские, если кому надо, тот их понимания лишён, а кому открыта суть, тот пользоваться ею не может?» — «Без знания судьбы и жизни-то нет». — «Неправда не обидна, зато правда — что приговор Господний: против неё нет слов, и сама она не в словах, правда есть тайна, которую только угадываешь и сгибаешься под тяжестью догадки». — «Смысл, обязанный быть и постигаться». — «Гибель смыслом быть не может. В Божьем мире нет места пустому и бессмысленному действию». — «Истинно пытливый ум обязан спрашивать — „зачем?“ и не пугаться безответностью, но дерзать с молитвой, ибо только постижение Бога, что есть причина всех причин, только в том жажда подлинного, высшего знания». — «Когда бы непознаваемы были думы Господни, человечество в дикость впало бы, через избранных являет Господь волю свою». — «Кто подвигнут судьбой на великое, тому видимое — не помеха». — «В равенстве нет бытия». — «Сомнение — скользкое щупальце сатаны». — И, в духе размыслителей тех веков: «Тот, который падший, не оттого ли и пал, что разуверился в человеке и, преисполненный презрения к нему, восстал против доброты и любви Божией, потаканием злу человеческому вознамерился уличить Творца в тщете творения?..» — И (из тюремного бытия тоже): «Умом ли, другим каким чувством считает человек ход времени, и в том непременно условие жизни».

Всё повествование идёт при отчётливом и разнообразном авторском зрении, с физической несомненностью пейзажа, обстановки, одежд, жестов, телоположений. Идёт со зримой картиной происходящего — например, речной бой на стругах — очень же нелёгкая задача и для воображения и для писания. Много ярких пейзажей — смерч в песчаной степи (с этого повесть и начинается). Уже упомянутая гроза без ливня над Астраханью, и в ней же — покойный летний закат, дикие берега и острова Яика — где как будто «кончилась Земля как обитель человеческая... всё вокруг мнится сотворённым на поприще Божьего замысла о тверди земной», если низина — то кажется, будто она ниже берегов, а река течёт по ребру холма, а холмы не знают закона формы, а сквозь заросли не проползти змее. Наконец и остров «вздывается, словно вознамерился вырваться из реки в небо». Ну да и на Волге «топляк иной зверем подводным высунется из воды, оскалившись комлём», да и камыш волжский особенный. На все лады луна — «усечённая словно саблею казацкой», и «светит по-воровски. То и дело скрадываясь в грязных зипунах, что волокутся по небу», и «луна в полноте зависла над островом, как вражий согладатель, осторожность презревший по недосыгаемости», и «грустная ухмылка луны» над казачьим мятежом. И «запах огня» и «дым посадских пожарищ завис над [астраханским] кремлём грязными, смрадными космами». И птицы «тишине не поперёк, но как часть тишины», и волчий вой, «словно не волки вовсе. Но сама

земля вопит о чём-то неизбежном», — сливается он с российской Смутой, как и «запах лошадиного пота, вся Русь им полна с начала смуты». Ну и скачка же конская по степи — «горизонт изогнулся, как лук татарский, а стрела — это отряд их, нацеленный куда-то», но «не погнать коня в любую сторону, чтоб доскакать до чего-нибудь, что не есть степь», так необъятна она. И о привечании коня. И о предупреждающем его косящем взгляде. Ну и русская же баня, конечно, во всей её парной прелести. И «судорожное мерцание иной звезды, словно давно отлетевшая душа чья-то тщетно пытается напомнить о себе кому-то... „Вспомни обо мне! Мне холодно здесь и пустынно“».

И — иконы. Странная особенность иконы: переменчивость лика Господня к молящемуся, «тайна благословенного богомаза, сумевшего запечатлеть в красках не один лик Иисуса, но всю заповедность Его». И вот — «взора Его взыскующего не вынести без молитвы, просятся колени в пол, губы к шёпоту молитвенному». А то: «обычно, с какого боку ни подойди, очи Сына Божьего непременно в ту же сторону разверсты, око в око», а вот — «как нет более внимания Его, хладен и невидящ зрак Христов».

Во всю повесть — равномерно, без срыва, Бородин выдерживает, в духе эпохи, и долгие раскаты фраз («души благоприятное думам состояние») и часто ставит прилагательные и причастия *после* своих существительных); скуп на тире и почти вовсе не использует двоеточий. Также строг к себе и в лексическом отборе, чтоб нигде не выпасть из стиля времени, весьма точно находит слова.

И просто освежение лексики:

захват (дыханию)	щедрить	чреватый (цвет)
капельный зачин (дождя)	сопоспешник	обсказать что
залихоражденные толпы	словознатцы	ватажный народ
обрудь нарядная	в тридень — <i>нч.</i>	неугадаемый
угрозливое небо	без подумки	хряцк (сабель)

В упрёк можно поставить только, что автор не взялся разработать особый лексический фон для Марины: как бы она ни усвоила за эти годы русский (но вряд ли так, чтоб запросто употреблять «нешто, не токмо, ввечеру» и свободно владеть ритмом и синтаксисом, как это в повести) — нет, не могла же она освободиться от польских интонаций и польских выражений — и этим бы окрасить и оснастить её речь — да так, чтобы не требовалось переводных подстрочных сносок. За всю повесть таких польских вставок, вместе с её фрейлиной-полькой, всего три-четыре (вшистка бендзе добже, у здрайдз, дьябло везьмо). А тем более бы в мыслях и в молитвах.

Ярчайшая историческая повесть в современной русской литературе — за нынешним разливом беллетристической пустоты и издуманности прошедшая как бы и внезапно к критикам-ценителям.

